

Л.Я. Шнейберг, И.В.Кондаков

Образ повествователя. Лютов

Кто такой Лютов? По-видимому, он штабной работник дивизии, «писарь». Но, наступая и отступая вместе с Первой Конной в быстро меняющейся обстановке, в условиях маневренной войны того времени, он порой вынужден принимать участие в бою или выполнять какие-либо поручения отнюдь не писарского характера. Кроме того, он сотрудничает в армейской газете. Это — «внешние», самые поверхностные, формальные сведения о повествователе. Известно, что Бабель состоял в Первой Конной с документами на имя Кирилла Васильевича Лютова. Под псевдонимом «К. Лютов» Бабель печатал некоторые свои статьи и заметки. Ряд новелл представляет собой непосредственную обработку дневниковых записей писателя, и печатались они первоначально под общим заголовком «Из дневника», как очерки. Многие записи в сохранившихся тетрадях Бабеля по своему содержанию и стилю близки тем рассказам «Конармии», в которых повествование ведется от имени Лютова.

Тем не менее неправильно было бы отождествлять образ Лютова с самим Бабелем, несмотря на то что в Лютове много автобиографического. Между автором и персонажем, от лица которого ведется повествование, всегда есть дистанция, так же как, например, между поэтом и лирическим героем его стихов. С одной стороны, повествователь у Бабеля — типизированное лицо (результат художественного обобщения), соединяющее в себе черты нескольких людей, оказавшихся в роли наблюдателя, свидетеля и судьи кровопролитных событий войны, как бы одновременно и находящихся в гуще совершающегося и — не участвующих непосредственно в боях, расправах, дележе добычи и т. п. С другой — Лютов, будучи наблюдателем и свидетелем происходящих на его глазах поступков и их последствий, не может эмоционально отрешиться от только что увиденного и услышанного, он «не остыл» от совершающихся событий — во всей их суровости, жестокости и подчас неприглядности; в каждый данный момент ему не дана *вся правда*, стоящая за преходящими впечатлениями. Автору же известно о конармии — всё; за ним — последняя оценка всех лиц и событий, всех речей и поступков, включая и главного героя — Лютова. Поэтому Лютов в одном отношении больше, чем Бабель, в другом — меньше, ограниченнее. Персонаж — всего лишь полковой писарь, торопливо записывающий свои впечатления от увиденного и услышанного за день, бесхитростно копирующий попадающие в поле его внимания документы, письма бойцов; другой, писатель, — это художник, призванный воссоздать противоречивый и красочный образ своей эпохи, запечатлевающий ход истории в самый ее критический, переломный момент.

Отметим и такой факт: Кирилл Васильевич Лютов — по имени, отчеству и фамилии, казалось бы, русский человек — не только обнаруживает в своих рассказах устойчивый интерес к жизни местечковых евреев Западной Украины (постоянно сопоставляя черты их быта и характера, поведения и внешний облик с жизнью одесского еврейства), но и показывает доскональное знание еврейских обычаев, религиозных обрядов, священных книг. Выясняется, что Лютов — еврей. В новелле «Гedaли» читаем: «В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала». Вместе с Гedaли он приходит к рабби Моталэ: «Откуда приехал еврей? — спросил он и приподнял веки.— Из Одессы, — ответил я» («Рабби»).

Из новеллы «Берестечко» узнаем, что Лютов прекрасно владеет французским языком: он бегло читает старое письмо, написанное по-французски. (Бабель свободно говорил

и писал на этом языке; свои первые рассказы он, влюбленный в Мопассана, писал на французском.) А из новеллы «У святого Валента» ясно, что Лютов понимает и латынь, на которой звонарь церкви святого Валента пан Людомировский предаёт анафеме конармейцев, надругавшихся над ракой святого и храмом. Он — Лютов — причастен и еврейской, и русской, и европейской культуре; но он не космополит, а интернационалист, потому ему так душевно близок старый Гедали — «основатель несбыточного Интернационала» (несбыточность которого, увы, слишком хорошо сознает сам Лютов). И революция близка Лютову своим интернационализмом (в «Конармии» постоянно упоминаются «всемирные» ее герои), высотой и грандиозностью грядущих, далеких идеалов...

Лютов, безусловно, близок автору и характером, и судьбой, и мировосприятием. Это интеллигентный, образованный человек («к вашему сведению должен сообщить,— заявляет Лютов женщине, в которую влюблен, — что я окончил юридический факультет и принадлежу к так называемым интеллигентным людям...») — новелла «Поцелуй»). Отчасти волею обстоятельств, отчасти вполне сознательно оказался он среди буденовцев, в большинстве своем красных казаков. Служба в Красной Армии для Лютова — способ понять происходящее изнутри, увидеть революцию не из книг и не в романтическом воображении, а своими глазами, в неприкрашенной реальности. Именно такая позиция повествователя дает возможность ему выражать свой непредубежденный взгляд на революцию и гражданскую войну и в то же время — взгляд пытливый, заинтересованный, свежий и острый. Лютову дано многое увидеть из того, что стало привычным, обыденным для других участников событий — командиров и рядовых бойцов Конармии, что притупилось для массового восприятия, но продолжает удивлять, поражать, потрясать сознание интеллигента, воспитанного на принципах гуманизма. «Летопись будничных злодеяний теснит меня неумоимо, как порок сердца», — признается Лютов в новелле «Путь в Броды». Среди разгула жестокости и озлобления, среди разрушений и заблуждений ищет Лютов, как он сам говорит, «робкую звезду» (см. «Гедали» «Рабби») — то есть человеческую доброту, мудрость взаимопонимания, свет далекой надежды. «Она мигает и гаснет — робкая звезда...» «Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката...» Герою Бабеля удается найти эту «звезду» — «на перекрестке ветров истории», среди зазывно зевающей «пустыни войны»...

Ничего удивительного в том, что отношение Лютова к происходящему крайне противоречиво. Он оказался в своеобразном «королевстве кривых зеркал», где его система нравственных и жизненных ценностей столкнулась с системой, прямо противоположной. Традиционные общечеловеческие нормы и правила поведения просто «не работают»: мир перевернулся.

«Ты грамотный?» — спрашивает Лютова Савицкий, «начдив шесть», принимая новичка в свое распоряжение.

«— Грамотный, — ответил я ... — кандидат прав Петербургского университета...

— Ты из киндербальзамов, — закричал он, смеясь, — и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. <...> Канитель тут у нас с очками, и унять нельзя. Человек высшего отличия — из него здесь душа вон. А испортить вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка...» («Мой первый гусь»).

Чтобы стать «своим», заслужить доверие конармейцев, Лютов намеренно разыгрывает целую сцену, где ведет себя с нарочитой грубостью. Он убивает гуся, требует, чтобы хозяйка зажарила птицу для него, даже толкает старуху кулаком в грудь. «Товарищ, — сказала она, помолчав, — я желаю повеситься». Казаки, не вмешиваясь, одобрительно следят за происходящим и один из них говорит: «Парень нам подходящий». А Лютов мучится содеянным: «Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагрённое убийством, скрипело и текло».

Все-таки «подходящим» Лютов стать не может: слишком много бессмысленно пролитой крови, неоправданной жестокости; человеческая жизнь обесценена, вековые тради-

ции пограны, ценности культуры и человеческого духа преданы забвению. Особенно потрясает низкий порог, отделяющий жизнь от смерти, переступить через который ничего не стоит любому из окружающих Лютова бойцов. Когда дьякон Иван Агеев (новелла «Иваны»), возмущившись постоянным издевательством своего тезки Ивана Акинфиева, стреляющего то и дело над его ухом, торжественно заявляет: «Меня высший суд судить будет <...> ты надо мною, Иван, не поставлен...», — случайный его собеседник с соседней телеги спокойно замечает: «Таперя кажный каждого судит <...> И на смерть присуждает, очень просто...»

Другой эпизод. Лютов записывает пленных поляков. Один из них — «юноша, похожий на немецкого гимнаста из хорошего цирка, юноша с белой немецкой грудью и с бачками, в триковой фуфайке и в егеревских кальсонах». Когда напарник Лютова собрался отвести юношу к остальным пленным, стоявшим группой поодаль, эскадронный Трунов заподозрил поляка в принадлежности к офицерам, «с двадцати шагов... разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались на руки» Лютова. Эта сцена в рассказе «Эскадронный Трунов» уравновешена другой, в которой Трунов погибает, вызывая на себя огонь вражеского бомбовоза, тем самым спасая весь эскадрон, укrywшийся в лесу, от гибели.

Два эпизода — как две чаши весов: на одной — жизнь варварски и бессмысленно убитого поляка, на другой — спасенные жизни бойцов эскадрона; на одной Трунов — варвар, палач, садист; на другой — Паша Трунов, «всемирный герой». Но в сознании Лютова одно не перевешивает другого; не принимая свирепости конармейца в обращении с пленными, он не может отрицать и его самоотверженности, мужества и героизма. Когда в эскадроне возникают нелепые домыслы о сути отношений и расхождений между Лютовым и Труновым, Лютов заявляет: «Мы побрались с ним, но он умер, Пашка, ему нет больше судей в мире, и я ему последний судья из всех». То восхищаясь, то возмущаясь конармейцами, людьми совсем иного склада, чем он, Лютов оставляет за собой право судить их по высшему счету — *человечности*.

Своеобразно переключается с новеллой об эскадронном Трунове рассказ «После боя». Только что шестая дивизия позорно бежала, не выдержав столкновения с савинковцами; только что Лютов избежал неминуемой, казалось бы, смерти от своего же конника Гулимова; все разговоры — вокруг понесенного поражения... Бывший повозочный ревтрибунала Акинфиев кричит Дютову: «Ты в атаку шел <...> ты шел и патронов не залаживал... где тому причина?.. <...> Поляк тебя да, а ты его нет... <...> Где тому причина?.. <...> Ты патронов не залаживал <...> ты бога считаешь, изменник...». Дерзко и вызывающе отвечает Акинфиеву Лютов, признавая и свою сознательную установку на неучастие в убийстве, и «причастность» к молоканам, религиозным пацифистам. Конфликт Лютова и Акинфиева — принципиален и непримирим.

«Ты шел и патронов не залаживал» и «ты бога считаешь, изменник» — две характеристики Лютова (устами рядового бойца Конармии) парадоксальны и многозначительны. Конечно, Лютов — неверующий человек, сами религиозные обряды и обычаи он наблюдает как явление вековой культуры, с точки зрения нравственной, эстетической, философской. Лютов верит лишь голосу совести, голосу развитого сознания. Он терзается вопросами — тяжкими, неразрешимыми, безответными, которые не существуют для таких, как Трунов или Акинфиев. Для них все происходящее — простое исполнение жизни. Поисками смысла жизни занят и Лютов, «отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни». (Бабель записывает в дневнике 1920 г.: «Течет передо мною жизнь, а что она обозначает?»)»

Тот разрыв, который существует между «простой жизнью», не обремененной рефлексией, и развитостью сознания, культуры, личности (который Горький в «Несвоевременных мыслях» назвал «разрывом между инстинктом и интеллектом»), делает мучения и поступки Лютова непонятными его однополчанам. Однако и Лютову недоступен образ жизни и образ мыслей своих боевых товарищей. «Первая звезда блеснула

надо мной и упала в тучи. <...> Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — умение убить человека» («После боя»). Это умение, однако, не дано и не дается Лютову: в этом его слабость, но в этом и его сила!

Бабель знает, что жестокость бывает иногда неизбежна, необходима, а значит, оправданна — социально, психологически, исторически. Такой он ее и показывает в ряде рассказов «Конармии» (например, «Соль», «Смерть Долгушова», «Начальник конзапаса»). Но даже и в этих относительно редких для «Конармии» случаях ни сам писатель, ни его герой Лютов не могут принять это оправдание — всем своим существом, всем сердцем. Только рассудком, подчиняясь жесткой, однолинейной логике обстоятельств, да и то — каждый раз не до конца, постоянно испытывая внутреннее сопротивление этой неумолимой логике: «Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов...»

Иногда кажется, что Лютов сделал свой выбор, принял революцию и ее жестокие законы. Но нет! Это всего лишь попытки «переварить» классовую борьбу поэтическим сознанием... Вот, например, читает Лютов в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна: «Я читал и ликовал и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой». Когда же Лютов «громко, как торжествующий глухой <...> прочитал казакам ленинскую речь», красноармейцы не заметили никакой *кривизны*, как, впрочем, и *таинственности* в ленинской речи:

«— Правда всякую ноздрю щекочет, — сказал Суровков, когда я кончил, — да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну». — «Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона...», — добавляет Лютов («Мой первый гусь»). Сам он *так* сказать и подумать, да и понять Ленина — не смог бы. Не мог бы он и прочесть (сочинить) «письмо Ленина», как это сделал красный генерал Матвей Павличенко» из рассказа «Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча». С «чистого листа» он читает по книге приказов», читает, «хотя сам неграмотный до глубины души» «письмо Ленина»: «Именем народа <...> и для основания будущей светлой жизни, приказываю Павличенко, Матвею Родионычу, лишать разных людей жизни согласно его усмотрению...» А между тем в этом «письме-приказе» *есть ленинская правда*, внятная «красным генералам» и бойцам, просто вытаскивающим ее «из кучи» фактов и противоречивых событий, предпочитающим «бить сразу»!

Трудно принять революцию, специализирующуюся на «лишении разных людей жизни» по усмотрению каждого ее рядового участника — даже ради «основания будущей светлой жизни». Набожный старик Гедали недоумевает: «“Да”, кричу я революции, “да”, кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу..! <...> Поляк — злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду <...> и потом тот, который бил поляка, говорит мне: “Отдай на учет твой граммофон, Гедали... <...> я стрелять в тебя буду <...> и я не могу не стрелять, потому что я — революция...”» И Лютов соглашается со стариком: «Она не может не стрелять <...> потому что она — революция...» Но недоумение не проходит. Гедали продолжает размышлять вслух: «Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция?»

Молчит, не отвечает Лютов. Нет у него аргументов против недоуменных вопросов умудренного жизнью и книгами старца: «И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на голос: горе нам, где сладкая революция?..» Однако сам Лютов, как его характеризует в следующей за «Гедали» новелле «Мой первый гусь» квартирьер, — «человек пострадавший по ученой части...», и его «наука», как и «наука» Гедали, не дает вразумительного ответа на наивный вопрос, бывает ли на свете «сладкая революция», может ли она быть исключительно делом «хороших людей», может ли она «не стрелять». Гедали просит «пане товарища» Лютова: «Привезите в Житомир немножко хороших людей.

Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны». А в следующей новелле про гуся Лютов объявляет красным казакам: «В газете Ленин пишет <...> что во всем у нас недостача...» — и люди внимают Лютову. Но речь не идет о «недостаче добрых людей», поскольку революция в их понимании, делается *со зла*.

И Лютов, беседуя с Гедали, понимает, что мечты старого еврея об основании «IV Интернационала» — «смешны» («Сын рабби»), что Интернационал этот «несбыточен»... «Интернационал... — говорит Гедали, — мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы знаете, с чем его кушают...» С какой-то неожиданной злостью и резкостью отвечает ему Лютов: «Его кушают с порохом <...> и приправляют лучшей кровью...» Правда, и Лютов, при всей его нарочитой трезвости и безыллюзорности, не догадывается, чем может обернуться пресловутый «интернационал» ленинско-сталинско-го образца: каждую душу возьмут «на учет» (и «под контроль») и дадут ей паек — лагерный. Да и сам его красивый ответ доморощенному философу звучит риторически, искусственно...

Во многих рассказах своей «Конармии» Бабель снова и снова возвращается к теме жестокости — жестокости беспримерной, исключительной, иррациональной. И каждый раз повествователь застывает в горестном недоумении перед страшной силой ненависти и злобы, правящей людьми, перехлестывающей все остальные мысли и чувства. «*И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разное, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился*». Это рассказ сына о том, как отец, примкнувший к белым, убивает другого сына, примкнувшего к красным («Письмо»). «Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой <...> от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть...». Это рассказ о том, как работник — именем революции, народа, Ленина — в незабвенном восемнадцатом убивает своего хозяина («Жизнеописание Павличенки...»). Или: «Прищепка ходил от одного соседа к другому, кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. В тех хатах, где казак находил вещи матери или чубук отца, он оставлял подколотых старух, собак, повешенных над колодцем, иконы, загаженные пометом». — Это история молодого казака, родителей которого белые взяли заложниками и убили; теперь он мстит односельчанам, поделившим оставшиеся без хозяев вещи; в заключение, убив домашнюю скотину, уничтожив родные, в том числе и «отбитые» у соседей, вещи, он поджиг родимый дом — «и сгинул» («Прищепка»)...

Критики часто обвиняли Бабеля в пристрастии к такого рода сценам, где чудовищная жестокость свидетельствовала о полнейшем одичании и деградации людей, ввергнутых историей в мировую войну, революцию и войну гражданскую. Но ведь и Горький, пролетарский писатель, слывший «буревестником революции», написал в «Несвоевременных мыслях», что «наша революция дала полный простор всем дурным и зверским инстинктам», а ведь Горький наблюдал за происходящим в русской революции в некотором отдалении — в отличие от Бабеля, — притом в столице, а не в провинции (как и советовал Горькому Ленин, дабы тот меньше ужасался революции). Жестокость — неотъемлемое свойство революции; правда о революции всегда жестока.

Однако Бабель изображает жестокость так часто еще и потому, что она поразила его на всю жизнь с детства, когда он пережил еврейский погром, вызвавший нервное потрясение и начало астматической болезни (об этом — в «Истории моей голубятни» и в «Первой любви»). «Не болезненное пристрастие к отвратительным и острым сценам движет Бабелем, а внутренняя израненность человека, увидевшего и перенесшего в жизни слыш-

ком много жестокого», – писал критик А. Лежнев, ценивший Бабеля как мастера слова. Центральный герой бабелевской «Конармии» Лютов — тоже «человек, уязвленный жестокостью», и обращается к ней он «так часто потому, что она поразила его на всю жизнь». Потому-то и «теснит» его «неумолимо» «летопись будничных злодеяний», из которых складывается история революции и особенно гражданской войны.

В одной из последних новелл цикла, «Аргмак», Лютов признается: «Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться». В этом признании, нелегком, драматичном, — вся противоречивость и двойственность положения Лютова, бойца-интеллекта, революционера-гуманиста. С одной стороны, он хочет быть «своим», «подходящим парнем», хочет «перейти в строй» (от штабной и газетной работы), добиться дружбы людей, вызывающих в нем целый комплекс взаимоисключающих чувств — недоумения и обиды, восхищения и вражды. С другой — он остается один, непонятый и отвергнутый, он отчужден от них, так как не приемлет многое, что объединяет их. «Я тебя вижу, – говорит эскадронный Баулин Лютову, – я тебя всего вижу... Ты без врагов жить норовишь... Ты к этому все ладишь — без врагов...»

В двухцветном (красно-белом или черно-белом) видении мира нет места Лютову. В отличие от героев «Разгрома», «Железного потока», «Чапаева» и шолоховских «Донских рассказов» (произведений, писавшихся примерно в то же время и обращенных к событиям гражданской войны), Лютов оказывается в наиболее сложном положении: он и «за» и «против», он посередине, — между двух огней. Как известно, такая позиция была самой уязвимой с точки зрения революционной, а затем и советской морали. А близость Лютова автору, не отделенному от повествователя в его «Конармии» идейно-смысловой дистанцией, приводила к тому, что идеологические ярлыки и политические обвинения адресовались и самому Бабелю, представлявшемуся ретивым критиком то «попутчиком» революции, то мелкобуржуазным интеллигентом, то прямо контрреволюционером. Критикам же, симпатизировавшим Бабелю, приходилось его постоянно оправдывать, доказывая его «революционность», «советскость» и «коммунистичность»... Оправдание никогда не является выигрышной позицией, а более всего — в сфере политики. Политические туча над Бабелем неумолимо сгущались.